

В. А. СЛЕПЦОВ

«СЦЕНЫ В ПОЛИЦИИ»

М. Горький. «О Василии Слепцове»
К. Чуковский. «Жизнь и работа Слепцова»

О ВАСИЛИИ СЛЕПЦОВЕ

Крупный, оригинальный талант Слепцова некоторыми чертами сроден чудесному таланту А. П. Чехова; хотя Слепцов совершенно не владел вдумчивой, грустной лирикой, чутьем природы и мягким однако точным языком Антона Чехова, но острота наблюдений, независимость мысли и скептическое отношение к русской действительности очень сближают этих писателей, далеких друг другу в общем.

Очерки Слепцова появились в те годы, когда в русской литературе особенно громко начали раздаваться голоса «кающихся дворян», зазвучала чувствительная исповедь потомков о грехах предков — исповедь весьма многословная, не всегда сердечная и едва ли уместная, ибо то, что называлось «грехом предков» («отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». Иеремия 31, 29), было исторической неизбежностью, обязательным для всех народов этапом культурного развития и требовало не словесного рассказа потомков, а их упорной борьбы с окаменелостями прошлого в мысли и деле, в быте и чувстве. Тогда разыгрывалось в русской литературе и под ее влиянием в обществе второе действие странной романтической драмы, героями которой являлись, с одной стороны, влюбленная интеллигенция, с другой — бесчувственный народ, при чем за подлинный народ принималось только большинство населения — крестьянство, другие же классы, например рабочий, как бы не существовали и не замечались литературой¹. О народе литература говорила, как и надлежит влюбленной, повышенным тоном, стараясь подчеркнуть прежде всего положительные начала его психики и быта невольно преувеличивая их, но в общем стремясь пробудить гуманное отношение к мужику, действительное внимание к деревне, что и было достигнуто литературой.

В это время Слепцов заговорил тоном спокойного наблюдателя о нелепой жизни мещанского городка Осташкова, — городка, который чудесным каким-то образом весь принадлежит купцу Савину, а купец, всесторонне грабя его, в то же время одно-сторонне украшает ершами, весьма искусно вырезанными из дерева. Смысл этой исторически верной картинки развития внешней культуры, творимой русским хищником, который в течение столетия не мог избавить страну от ежегодных эпидемий тифа, но создал лучший в мире балет, — смысл этого умного очерка остался не понят публицистами и журналистами эпохи. Их сердечное внимание было направлено в сторону тысяч деревень, а сотни уездных городов русских — эти фабрики очень мелкой и скудоумной буржуазии, тупого, мертвого консерватизма, уездного коего ушли глубоко в недра каменного невежества, — эти города остались вне поля зрения либеральной и радикальной мысли, в стороне от благотворного влияния интеллектуальной силы.

После, — в 80-х, в 1905—6 годах — уездные гнезда российской косности очень тяжело показали устойчивость своего быта, — социально-политическое значение этой устойчи-

¹ Хотя в то время уже вышла книга Берви-Флеровского «Положение рабочего класса в России». — Р е д.

вости остается недостаточно понятным и в дни «великих реформ», принятых многими подобно трусу, мору, потопу и вообще стихийным катастрофам.

Далее, в очерке «Владимирка и Клязьма», Слепцов рассказывает, как французы строят железнодорожный мост, как они ссорятся со своими инженерами и немножко издеваются над русскими; как рабочий француз говорит начальнику своему: «Я вас уважаю, но — не боюсь», а тринадцатилетний мальчуган, попав на Суздальскую Клязьму с французской Луары, говорит о Святой Руси — «Это край варваров».

Русак рассказывает Слепцову, как машинист француз пускает «в рыло» главного приказчика строителей моста струю горячего пара, рассказчик безобидно смеется над шуткой француза, а в это время другой русачок выманивает у иностранца несколько медных копеек — нищенскую сдачу с тех плутов русского золота, которые французы увезут на свою родину.

«Работают французы, — описывает Слепцов, — народ все крупный, такой основательный, надежный, все с такими густыми, черными бородами, в теплых мерлушковых шапках, в дубленых рукавицах. Прошел какой-то начальник в енотовой шубе, — никто и ухом не повел, никому до него и дела нет, всякий занят своим, прилаживают гайки, и все это так просто, свободно, без криков и понуканий, покуривая сигарку, распевая песенки о своей прекрасной Франции. А там, внизу, под мостом, копошится народ: человек тридцать каких-то нищих всех возрастов, начиная с 15 и до 70 лет, усиленно дергали измочаленный канат и тянули песню прекрасной России:

Черная галка,
Чистая полянка,
Жена Марусенько,
Черноброва —
Чего не ночуешь дома?

— Ух!

Человек десять ковырялись во льду, таская из воды обмерзлые бревна. И так-то вяло, как будто нехотя. Поковыряют, поковыряют, да почешутся или примутся зевать и вытягиваться и до той поры зевают, потягиваются, пока не увидит их десятник и не закричит:

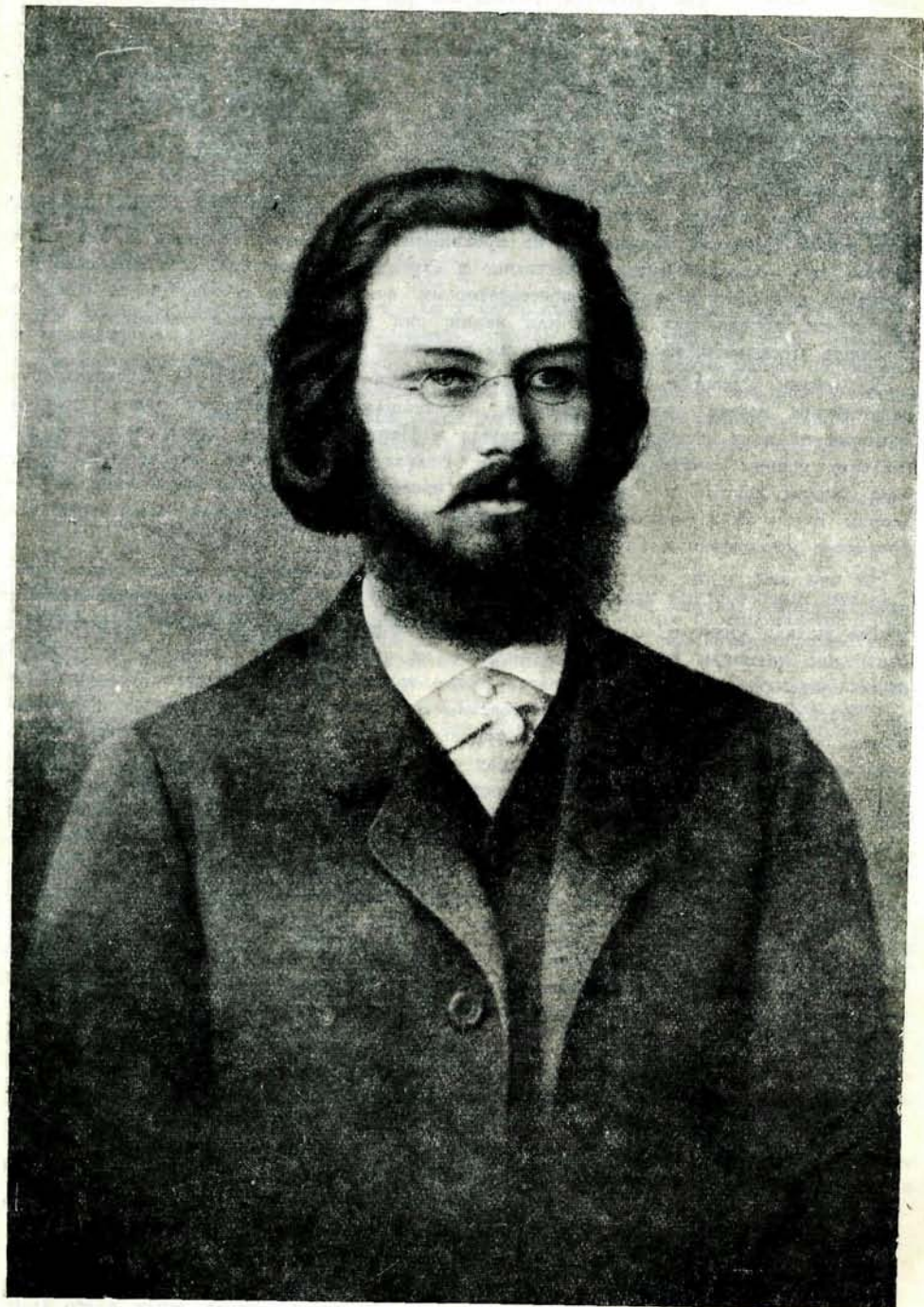
— Эй, вы! Шмони вы эдакие, право — шмони. Ну, что стали? Эх, палки на вас нет!»

Все это нарисовано очень живо, ловкой, твердой рукой и настолько внушительно, что из краткого, спешного очерка приемов работы, навыков жизни, отношений двух племен как будто возникает некая жуткая и густая тень, возникает и падает далеко вперед на будущее нелепой русской земли.

Слепцов вообще брал темы новые, не тронутые до него; он писал о фабричных рабочих, об уличной жизни Петербурга; его очерки полны намеков, вероятно бессознательных, на судьбу отдаленного будущего страны, полны живого смысла, не уловленного в свое время, но его темы тотчас были подхвачены Глебом Успенским в книге «Нравы Растеряевой улицы», Левитовым и Вороновым в их славной книжке «Жизнь московских закоулков» и затем целой группой менее видных, забытых теперь писателей, сотрудников «Современника», «Отечественных Записок», «Дела» и «Слова».

Отношение Слепцова к деревне заметно разнилось с общим повышенным отношением к ней. В сценах «Мертвое тело», в рассказах «Свиньи», «Питомка», «Ночлег» и пр. у Слепцова чувствуется печальная усмешка человека, который сомневается во всем, что в ту пору было принято думать и говорить о деревне. Он изображает мужика неумным, равнодушным к ближнему и своей судьбе, притерпевшимися ко всем несчастьям, почти безропотно подчиненным чужой воле даже тогда, когда ему ясно, что ее цели и глупы, и вредны его интересам. Этот мужик спокойно ходит в волюсть «поротья» и терпеливо ждет, когда начальство удосужится выпороть его.

Историк русской литературы С. А. Венгеров говорит, что Слепцов изображал мужика «настоящим головотяпом»; критик Скабичевский упрекал его в поверхностно-скептическом отношении к деревне, есть и еще мнения, не лестные для Слепцова. И



В. А. СЛЕПЦОВ

С фотографии (60-х гг.), хранящейся в Государственном Театральном Музее им. Бахрушина

хотя все признавали оригинальность таланта нового писателя, хвалили его за простоту и убедительность рассказов, однако его расхождение с установленным эпохой литературным каноном видимо отодвигало его в сторону от литературных кружков, оставляя человеком без друзей. Думать так позволяет то обстоятельство, что о Слепцове почти нет воспоминаний, кроме рассказа о нем Панаевой-Головачевой, подруги и сотрудницы Н. А. Некрасова. В 60-х годах «женский вопрос» рассматривался как вопрос первостепенной социальной важности, — Слепцов был одним из первых, кто искренне увлекся вопросом и посвятил ему не мало энергии, всячески пытаясь облегчить женщинам путь к знанию и самообразованию.

Уже в 63-м году он затевает ряд популярно-научных лекций для женщин, которые в то время десятками съезжались из провинции в Петербург, стремясь к знанию и свободе, что было законно и естественно в стране малограмотной. Это движение решительно и злобно порицалось консерваторами, они кричали о разрушении семьи и опасностях, вытекающих отсюда для нации, они дали учащимся женщинам едкое прозвище «горизонталок», приписывая им все грехи и пороки.

Но лекции Слепцова посещались такими женщинами, как Н. П. Суслова, дочь крестьянина, первая русская женщина, получившая в Швейцарии звание доктора медицинских наук и потом практиковавшая в Петербурге, в Н.-Новгороде, автор нескольких ценных сочинений по медицине; Бокова, которая тоже впоследствии получила диплом доктора в Германии и стала известным в Лондоне оператором по болезням глаз; была знакома со Слепцовым и Софья Ковалевская, знаменитая как профессор математики в Стокгольме.

Но эти лекции не имели успеха, — подбор лекторов оказался недостаточно удачным, женщин, которые искренне желали учиться, было меньше, чем тех, которые чинно желали этого, и, наконец, как это само собой разумеется, вокруг честного дела неизбежно возникли грязные сплетни. Это не обескуражило Слепцова, он устроил нечто вроде «коммун» — общую квартиру для тружениц науки, пытался устроить для них переплетную и белошвейные мастерские, открыть контору для переписки деловых бумаг, организовал переводы с иностранных языков, устраивал публичные лекции, спектакли, литературные вечера в пользу своих «коммунисток», делал все, что позволяли условия времени и стойкое сопротивление русского быта; эти его затеи еще более усилили грязные сплетни и наконец привлекли внимание полиции. Обыватели стали говорить, что Слепцов основал новую секту, нечто вроде «корабля» хлыстов, что в секте царит дикая распущенность, и полиция, подозревая нечто иное, арестовала Слепцова и посадила его в «каталашку» Александро-Невской части, откуда он через семь недель вышел больным.

Жажда непосредственной близости к жизни, деятельное участие в ней несомненно мешали кропотливому труду писателя, и Слепцов писал немного, тратя силы и время на путешествия пешком по дорогам российским, на «женский вопрос» и вообще — на жизнь.

Самое крупное и наиболее зрелое произведение Слепцова — повесть «Трудное время», превосходно изображает одну из бесчисленных драм эпохи, и хотя порою эта драма переходит в комедию, но это вполне типично для русских драм, в которых всегда слишком много нудной словесности и так мало подлинной страсти. Щетинин, его жена, Рязанов — типичные герои того трудного времени. Слепцов написал их мастерски, как настоящий художник. Жена Щетинина — это одна из тех женщин, которые, увлекаемые тревогой эпохи, смело рвали тяжкие узы русского семейного быта и, являясь в Петербург, или погибали в нем, или ехали за огнем знания дальше — в Швейцарию, или же шли «в народ», а потом — в ссылку, в тюрьмы, в каторгу. Щетинина может быть одна из женщин, которые слушали лекции Слепцова, жили в его «коммуне» и несомненно погибли в борьбе за свободу своей страны.

А Рязанов — один из тех интеллигентов, которые, сознавая, что они непонятны, не нужны и чужды «народу», а всем другим классам враждебно их критическое отношение к «устоям» русской жизни, отдавали себя духу «отрицанья и сомненья» и с гордостью приняли кличку нигилистов. По натуре своей Рязанов — родной брат нигилисту База-

рову из книги Тургенева «Отцы и дети», но он — человек более естественный и лучше знающий жизнь, чем знал ее герой Тургенева.

«Это и не жизнь», — говорит он Марии Щетининой, — а чорт знает что, дребедень такая же, как и все прочее». «Есть такая точка зрения, с которой самое любопытное дело кажется столь простым и ясным, что на него скучно смотреть». «Но обыкновенно люди, как нарочно, выбирают такие дела, в которых чорт ногу переломит, потому что хотя толку от этого бывает мало, зато на каждом шагу можно удивляться, радоваться и ужасаться. Ну, время-то и проходит, и кажется, что как будто в самом деле живешь».

«— Но что же тогда? — спрашивает Щетинина. — Что же остается делать человеку, который потерял возможность жить так, как все живут?..

— Остается, — Рязанов посмотрел кругом, — остается выдумать, создать новую жизнь, а до тех пор...

Он махнул рукой.

Это очень безнадежно, но такие мысли и настроения должны были мучить наиболее наблюдательных людей «трудного времени», людей, которым «некуда» идти. Базаровы и Рязановы созданы русской жизнью как бы нарочито для безудержного осуждения ею же самой себя. Эту роль они исполнили самоотверженно, разбив себе лбы и сердца, погибнув в отрицании, но по трупам их в жизнь вошли люди революционного дела, сотни героев, имена которых почтительно вписаны на страницы истории борьбы за свободу и культуру.

М. Горький

ОТ РЕДАКЦИИ

Публикуемая статья М. Горького была написана в качестве вступительного очерка к повести «Трудное время» В. А. Слепцова, вышедшей в Берлине в издательстве Гржебина в 1923 г. К сожалению, кто-то счел нужным внести в нее такие «исправления», которые во многих местах затемнили ее подлинный смысл.

Восстановить статью в ее первоначальном виде теперь не представляется возможным, так как местонахождение оригинала неизвестно. Поэтому здесь мы отмечаем лишь те искажения, которые указаны самим Алексеем Максимовичем в письме в редакцию «Литературного Наследства» от 30 марта с. г.

«После первого абзаца, — сообщает А. М., — были приведены образцы приемов Слепцова, которыми он пользовался для изображения пейзажа и жанра. Для пейзажа было взято несколько строк начала повести «Трудное время», а для жанра — сцена съезда мировых посредников из той же повести».

В некоторых случаях «правка» явно искажает смысл отдельных высказываний. Так был искажен смысл 4-го абзаца («После, — в 80-х, в 1905—6 годах»... и т. д.). «Речь шла, — указывает А. М., — не только о наших днях, а главным образом об «эпохе великих реформ». Дальше неведомый редактор вычеркнул выдержку из «Губернских очерков» Салтыкова, кусок из «Нравов Растеряевой улицы» и ссылку на провинциальные корреспонденции «Искры» Курочкиных. Вследствие этого в гржебинском тексте получилось так, что характеристика «эпохи великих реформ» была отнесена к нашим дням.

Наконец «выпало место, где я сравнивал Слепцова как наблюдателя с Якушкиным, противопоставляя их Рыбникову, Киреевскому, Сахарову и др., которые собирали материал фольклора — песни, — от помещичьих хоров, т. е. материал, цензурованный помещиками, искаженный. Якушкин «черпал» его непосредственно, «из уст народа», на сельских ярмарках, на базарах. Н. Е. Каронин-Петропавловский говорил Короленко и мне, что у Слепцова были «толстые тетради» записей его бесед с сектантами, анекдотов, песен, рассказов о попоках».

Разумеется, все это не дает еще полного представления о том, какой вид имела статья до гржебинской «правки». Думаем однако, что и эти восстановленные места ясно свидетельствуют об ее истинной ценности.

[СЦЕНЫ В ПОЛИЦИИ]

Дежурная комната в частном доме: стены выкрашены желтою краскою, прямо против зрителя дверь, направо дырявый прозалившийся диван; перед диваном стол, на котором разбросаны бумаги; налево у стены скамья, на которой стоит сундук и лежат разные отобранные вещи, как то: полушубок, шина от колеса, связка сухих грибов, сапоги, какой-то узел, тут же стоит поднос с чайным прибором из трактира и косушка водки. Стены облуплены и залепаны; в углу закоптелая железная печь. На диване сидит вестовой. Тут же в комнате прохаживается и разминает прозябшие ноги рассыльный из управы благочиния.

Р а с с ы л ь н ы й (*прохаживаясь*). Ах, долго! Где он там у вас, дежурный-то?

Вестовой. В канцелярию пошел, сейчас придет.

Р а с с ы л ь н ы й. Долго, долго!

Вестовой. Посидите, погрейтесь.

Р а с с ы л ь н ы й. Что сидеть! Мне еще в три места бежать.

Вестовой (*зевая*). Поспеете.

Р а с с ы л ь н ы й. Да, утро-то, шутка, братец мой, верст десять обещаешь, да все с успехом, все поспеваешь.

Вестовой. По привычке...

Р а с с ы л ь н ы й. Оно конечно... Который человек возьмет привычку ходить, тому сидеть хуже.

Вестовой. Хуже. Это ваша правда.

Р а с с ы л ь н ы й. Это все по человеку — как кому: другой не может, а другому ничего.

Вестовой. Другому ничего. Это так.

Р а с с ы л ь н ы й. Я по себе знаю: да я теперь ни в свет не соглашусь вот эдак, как вы. Мне не усидеть ни за что.

Вестовой. Да, без привычки трудно.

Р а с с ы л ь н ы й. То-то и есть. А главная вещь вот сапоги пуше всего, чтобы крепкие.

Вестовой. Это действительно вам нельзя, потому все в ходьбе.

Р а с с ы л ь н ы й. Все в ходьбе... Никак невозможно. Вот они! дай-не дай полтора целковых, как хочешь.

Вестовой (*качая головой*). Н-да.

Р а с с ы л ь н ы й. Что делать! Вот ты и думай. Никак это дежурный идет?

(Входит дежурный с бумагою в руке и садится за стол. Вестовой уходит к печке).

Дежурный (*рассыльному*). Это что?

Р а с с ы л ь н ы й (*подает пакет*). Из управы благочиния, вашбродь.

Дежурный (*берет пакет и расписывается в книге. Вестовому*). Прощай!

Вестовой. Чего изволите, вашбродь?

Дежурный. Что, давешняя женщина не приходила?

Вестовой. Никак нет.

Дежурный. Когда придет — посылай ее сюда.

(*Отдает рассыльному книгу*).

Р а с с ы л ь н ы й. Мне, значит, итить, вашбродь?

Дежурный. С богом.

Р а с с ы л ь н ы й. Больше ничего не будет?

Дежурный. Больше ничего. Ступай.

Р а с с ы л ь н ы й. Счастливо оставаться, вашбродь.

(Дежурный роется в бумагах. Входит арестант с конвойным солдатом. Конвойный солдат молча подает дежурному книгу, в которой лежит бумага; дежурный развергивает ее и читает вполголоса).

Дежурный (читает). «Препровождая при сем... для спроса... со взломом... женского платья... проживающий в доме купца... на чердак... «Гм! По сломании замка... ударил его бывшею при нем палкою... на крик прибежали... затем... при дознании показал... нанесены побои, отобраны вещи... претензии не имеет». Чудесно! (Арестанту): Что, брат, попался опять?

Арестант. Никак нет-с.

Дежурный (показывая на бумагу). А это что?

Арестант. Что ж. Пожалуй. Написать все можно.

Дежурный. Да как это тебя на чердак нелегкая занесла? а?

Арестант. По ошибке-с. Впотьмах, не видать, заблудился.

Дежурный. Заблудился. Гм! Ну, а насчет женского платья-то как же? Тоже, надо полагать, по ошибке захватил?

Арестант. Это неправда-с. Я господину следователю докладывал, как было дело, по чистой совести.

Дежурный. Что же он?

Арестант. Не верют.

Дежурный. Чудак! Да кто ж тебе поверит? Тут прямо сказано: «со взломом».

Арестант. Хм! Чудно! Со взломом! Это так только говорится, что со взломом, а вы извольте спросить, какой взлом. Тоже ведь это нужно понять, или нет-с? Ежели бы у них замки были как следует, в порядке, — ну, тогда точно, а то ведь что. Сами извольте знать, какой у бабы может быть запор: так, веревочкой это замотано, ткнул ее пальцем, она и летит. Взлом! Хм! Было бы что ломать. А то...

Дежурный. Как же тебя поймали-то?

Арестант. Как поймали? конечно они дуры, сейчас ах, ах, батюшки, караул... Хозяин услышал, — выскочил.

Дежурный. Тут, стало быть, он тебя и смазал?

Арестант. Точно так, в это самое место.

Дежурный. Чем же это он?

Арестант. А такая жердь у него в руках была, голубей гоняют, длинная такая. Голуби там на чердаке у него. Ну, он этою самою жердью, значит, меня, то-есть, благословил.

Дежурный. За что ж он тебя?

Арестант. А я не могу знать, вашбродь. Когда зачали они меня это бить, я в те поры их спросил: по какому случаю, говорю, вы меня бьете? «Ты, говорит, вор». Ежели я вор, то ведите меня в часть, а драться, говорю, вы не можете, потому прав таких нонче нет, чтобы, значит, то-есть, по морде. Ведь это и справедливо, вашбродь, потому следует по закону.

Дежурный. Так, так.

Арестант. А то что ж это будет, ежели всякий тебя в зубы?

Дежурный. Это верно. Ну, а он что?

Арестант. А они говорят: «Эти права, говорят, мы после разберем», а сами сейчас, значить, это кликнули молодцов, — «валяй». Меня, то-есть, сняли меня с чердака и зачали, и зачали лудить.

Дежурный. Ну, а ты что?

Арестант. Что же я могу против них? В эфтим случае я должен молчать.

Дежурный. Ну, и ловко они тебя обработали?

Арестант. Так ловко, что даже всю печенку отбили.

Дежурный. Гм! За дело.

Арестант. За что ж, помилуйте, за дело?

Дежурный. Не попадайся.

Арестант. Где же я попадался? Ежели бы они меня видели, как я воровал, ну, тогда...

Дежурный. Значит, напрасно это все на тебя?

Арестант. Напрасно-с. Это все одна ихняя выдумка из головы.

Дежурный. По злобе?

Арестант. Именно, по злобе-с.

Дежурный (смеется). Ах, чучело! Да в который это ты раз? а?

Арестант. Так что ж такое-с? По подозрению. Это всякого можно подвести, кого угодно. Нешто это порок? Не пойман — не вор.

Дежурный. Так, так. Стало быть, прав во всех статьях?

Арестант. Кто? Я то-с? Да я никогда виноват не буду.

Дежурный. О?

Арестант. Это будьте покойны.

Дежурный. Полно, так ли?

Арестант. Сейчас подписку даю.

Дежурный. Ну, смотри же!

Арестант. Насмотрелся я довольно, слава богу (помолчав). Так теперь куда же меня, вашбродь?

Дежурный. В острог, брат, в острог. Что, небось, не нравится?

Арестант (встряхивает волосами). Ничего. Что ж такое-с? У нас там тоже такие ли други-приятели есть, отцов не надо.

Дежурный. Ну, так и с богом (конвойному). Веди его! Ступай!

Арестант. Счастливо оставаться, вашбродь.

(Уходит с конвойным).

Дежурный (потягиваясь). А-ах, грехи! (Задумчиво осматривает комнату). Ишь ты, ведь как натоптали, сволочь? Свиной зал настоящий. Прохоров, ты хоть бы подмел здесь, что ли.

Вестовой (стоя в дверях). Как его подметешь?

Дежурный. Дурак! Обыкновенно: взял метлу, да и подмел.

Вестовой. Это, вашбродь, как вам угодно, здесь нельзя чистоту наблюдать, потому место такое.

Дежурный. А ежели пристав взойдет, тогда что?

Вестовой. Никак нет, они сюда не ходят.

Дежурный. А ты почему знаешь?

Вестовой. Это верно, вашбродь, потому здесь худо пахнет.

Дежурный. Мгм! Это так... (Задумывается).

(Входит извозчик).

Вестовой. Тебе чего надо?

Извозчик. Пьяного привез.

Вестовой. Ну, погоди.

Извозчик. Ох, некогда мне годить-то: к лошадям надо бежать.

Вестовой. Не уйдет.

(В дверях показывается старуха).

Дежурный. Что там еще?

Вестовой. Пьяный, вашбродь.

Дежурный. Давай его сюда.

(Извозчик уходит).

Дежурный (заметив старуху). Ты опять пришла?

Старуха (кланяется). Батюшка, ваше благородие!

Дежурный. Ведь тебе сказано. Чего ж тебе еще?

Старуха. Сделайте такую божескую милость!

Дежурный. Ступай!

Старуха (помолчав). Будьте столь добры!

Дежурный. Ступай, ступай, ступай!

Старуха. Отец!

Дежурный (привстав). Ах, ты, старая! Прохоров, выведи ее!

(Старуха уходит и в дверях сталкивается с пьяным, которого извозчик и городской страж ведут под руки).

Пьяный. Постой, постой! Пгди-пгди-пгди! Старуш...ах, старушку за-
давили было совсем! Задавили... Старушка-то, она божья ведь... старушка.
На что ее давить. (Городскому стражу.) Ты меня, кавалер, пусти, я сам.
(Прислоняется к перегородке.) Ничего... небось... не упаду. Я так, у сте-
ночки. Не опасайся!

Дежурный (к городскому стражу). Где ты его взял?

Городской страж. На панели, вашбродь.

Дежурный (пьяному). Ты что же это валяешься? а?

Пьяный. Кто?



«КАЛИКИ ПЕРЕХОЖИЕ»

Участники этнографических экспедиций конца 50-х и начала 60-х гг.

На переднем плане: П. И. Якушкин, П. Н. Рыбников, В. А. Слепцов,

И. И. Южаков, С. В. Максимов

На заднем плане: И. Л. Отто и А. И. Левитов

Карикатура в «Искре» 1864 г., № 9

Дежурный. Ты. Кто ж еще?

Пьяный. Никогда. Валяться не могу... потому, нам нельзя валяться.
У нас за это знаешь как... стрроого. Вот что. А впрочем, что ж такое?

Дежурный. Ты что за человек?

Пьяный. Я человек.

Городской страж. Дурак-чорт! Какого звания? Есть у тебя
звание какое-нибудь?

Пьяный. Звание? есть. У меня званьев много. Первое звание...

Дежурный. Ну, это мы завтра разберем твои звания. (Извозчику.)
Показывай номер!

(Извозчик показывает номер, дежурный записывает).

Пьяный. Вашбродь! а вашбродь!

Дежурный. Чего тебе?

Пьяный. Что я вас хочу просить.

Дежурный. Ну?

Пьяный. Прикажите меня наказать.

Дежурный. погоди, не торопись! (*Извозчику.*) Где стоишь?

Извозчик. В Ямской.

Пьяный. За мою глупость, что я так глупо говорю.

Дежурный (*извозчику*). У какого хозяина?

Извозчик. У Жилина, у купца.

Пьяный. Вашбродь!

Дежурный (*пишет*). Не мешай!

Пьяный. Милый барин! Вы меня извольте спросить, я вам все расскажу.

Городской страж (*пьяному*). Молчи!

Пьяный. Ладно. Я молчу. Вашбродь!

Дежурный. Ну?

Пьяный. Я молчу.

Дежурный (*городскому стражу*). Показывай номер!

(Городской страж показывает номер, в это время пьяный шатаясь, подходит к столу; городской страж его не пускает).

Пьяный. Постой, кавалер, погоди! Ах, братец мой! Чудак ты, порядку не знаешь. Ты видишь, я с барином говорить хочу. Вашбродь!

Дежурный. Ну, что еще?

Пьяный. Вашбродь, позвольте мне встать на коленочки. Я виноват. Простите меня, христареди! Виноват.

Дежурный (*вестовому*). Раздевай его!

(Вестовой берет его за рукав).

Пьяный. Нет, погоди! Вашбродь! Вы сперва меня извольте спросить, отчего я пьян. «Мужик дурак, по какому случаю ты пьян? Можешь ты мне отвечать, или нет?» Не могу. «А, ты не можешь? Ну, значит, молчи. Молчи, невежа, не разговаривай!» Я молчу. Потому рассудку настоящего во мне нет, и слов таких подобрать не могу! «Ты?» — Я. «Мужик — дурак, бесчувственная скотина и больше ничего. Как ты мог господина беспокоить? За это ты выходишь свинья». Вашбродь, прикажите меня наказать! Может, я очувствуюсь хоть сколько-нибудь... хошь сколько-нибудь.

Дежурный. Эко животное! (*Вестовому*). Обыщи его!

(Вестовой снимает с пьяного кафтан и, пошарив в кармане, вынимает раздавленное печеное яйцо).

Дежурный. Что у него там?

Вестовой (*рассматривая*). Закуска, вашбродь.

Дежурный. Ага, запаслив. А денег нет?

Вестовой (*открывает кошелек*). Никак нет.

(Вынимает из кошелька пуговицу и орех).

Дежурный. Это что?

Вестовой. Пуговица, вашбродь, да орех-двойчатка.

Дежурный (*пьяному*). Это на счастье у тебя, чтобы деньги во-
дилась?

Пьяный (*кивает головой*). На счастье. Это верно.

Дежурный. А деньги-то где ж?

Пьяный. Деньги? (*Вздыхает*). Там они... в хорошем месте.

Дежурный. В кабаке, небось, оставил?

Пьяный. Известно дело — в кабаке; а то где ж еще?

Дежурный. Пропил все?

Пьяный. Обнаковенно пропил. Рожна ли тут разговаривать. Пропил все, значит, ну и... в жилу раз!.. кубарем с лестницы... Поди к чорту!

Дежурный (*вестовому*). Отведи его!

(Вестовой берет пьяного под руку).

Пьяный. Куда?

Вестовой. Ну, ну, иди! Чего тут еще!

(Пьяный упирается. В это время входит солдат с мальчиком).

Пьяный. Вашбродь, вы смотрите, как бы того...

Дежурный. Чего?

Пьяный. Опосля не вышло бы чего. Греха бы не вышло.

Дежурный. Не беспокойся. Не выйдет! Ступай!

Пьяный. То-то. Смотрите.

(Уходит).

Дежурный (*солдату*). Это откуда? из тюрьмы?

Солдат. Из тюрьмы, вашбродь.

Дежурный. Препровождается?

Солдат. Так точно, вашбродь, препровождается.

Дежурный (*прочитав бумагу, мальчику*). Ты за что судишься?

Мальчик. За воровство.

Дежурный. У хозяина живешь?

Мальчик. У хозяина.

Дежурный. А много ли тебе годов?

Мальчик. Мне годов немного.

Дежурный. А воровать умеешь?

(Мальчик молчит).

Дежурный. Молодец! Что ж ты украл?

Мальчик. Сапоги.

Дежурный. На что ж они тебе, сапоги?

Мальчик. Продал.

Дежурный. А деньги где?

Мальчик. Прогулял с ребятами.

Дежурный. Это значит — с товарищами?

Мальчик. Да, с товарищами... с своими.

Дежурный. С приятелями. Так. Ну, а водку пьешь?

Мальчик. Какую водку?

Дежурный. Обыкновенно какую — горькую?

Мальчик. Нет, я не пью.

Дежурный. Так ты какую же употребляешь?

Мальчик. Крымскую.

Дежурный. А, это хорошо. Ну, ступай!

Мальчик (*дергает солдата за рукав*). Пойдем.

(Уходят).

Дежурный (*перебирает бумаги на столе*). Куда он делся, шут его возьми? Ах, ты!.. (*Ищет*). Прохоров!

Вестовой. Чего изволите?

Дежурный. Кто отсюда со стола ножик унес?

Вестовой. Не могу знать, вашбродь.

Дежурный. Кто же знает, чучело?

Вестовой. Это писаря хватают.

Дежурный. Писаря! А ты чего глядишь?

Вестовой. Я им не приказываю, да что ж с ними станешь делать!

Дежурный. Не давай, вот и все.

Вестовой. Они говорят, вы велели.

Дежурный. Когда я велел?

Вестовой. Они говорят.

Дежурный. Врут они. Поди спроси! Постой! (*Вполголоса*). Что эта женщина не была еще?

Вестовой. Никак нет.

Дежурный. Да ты ей что сказал?

Вестовой. Я ничего не говорил.

Дежурный. Отчего же ты не говорил?

Вестовой. Да ведь вы не приказывали.

Дежурный. Как не приказывал?

Вестовой. А в тот раз, как я за обедом ходил.

Дежурный. Да она была тут?

Вестовой. Точно так.

Дежурный. Что ж она говорила?

Вестовой. Она говорила, как ежели прикажут, я приду.

Дежурный. Так что ж ты ей сказал?

Вестовой. Да ведь вы не приказывали.

Дежурный. Кому я не приказывал?

Вестовой. Да мне.

Дежурный. Болван! Я тебе сколько раз говорил!

Вестовой. Вы говорили, как в случае придет.

Дежурный. Ну, да. Да ведь она пришла?

Вестовой. Никак нет. Она только сказала: как ежели прикажут...

Дежурный. Да что ж ты ей сказал?

Вестовой. Я сказал, что вы не приказывали.

Дежурный. Кому не приказывал? Чорт!

Вестовой. Да ей.

Дежурный. Ксгда же я не приказывал?

Вестовой. А в тот раз.

Дежурный. А что ж я тебе не приказывал?

Вестовой. Ничего не приказывали.

Дежурный. Чортова ты бестолочь! Так что ж, что я тот раз не приказывал! Ну, так что ж?

Вестовой. Я не могу знать, вашбродь.

Дежурный. Тьфу, ты! Пошел вон!

(В это время входят две бабы и три мужика с котомками на плечах. Бороды у мужиков в снегу, тут же с ними девочка лет семи, позади виден высокий худой старик с седой бородой. Все они входят молча и становятся на колени).

КАРТИНА

Дежурный. Это что такое! (Мужики и бабы кланяются.) Чего вам нужно!

Все (вместе). Батюшка-кормилец! (Опять кланяются).

Дежурный. Что вы за люди?

Все (вместе). Мы дальние... Погорелые... Калуцкие...

Старик. Калуцкой губернии.

Дежурный. Зачем вы пришли?

(Старик подает дежурному бумагу и опять становится на колени, бабы вздыхают, один мужик ставит девочку тоже на колени. Дежурный читает бумагу про себя).

Дежурный (возвращая бумагу). Это в казенную палату, а не сюда. Ступайте!

Все. Отец родной! Кормилец-батюшка!

(Кланяются).

Старик. Пяты сутки ходим.

Дежурный. Да что вы, очумели, что ли? Говорят вам — не сюда.

(Одна баба шепчет что-то старику, старик, стоя на коленях, торопливо вынимает из-за пазухи кошелек, который висит у него на шее, и достает оттуда деньги. Другая баба подает опять дежурному бумагу).

Дежурный. Как я? Обыкновенно. Наше дело известное.

Соболев. Трудно-с.

Дежурный. Что делать, брат, — служба.

Соболев. Это справедливо-с. Нда-с, трудновато. Всем нынче трудно.

Дежурный. Тебе-то какой труд?

Соболев. Да как же-с?

Дежурный. Все за долгами, небось, ходишь — маклеруешь. Ведь ты маклер; я тебя знаю.

Соболев. Что делать. Егор Иванович! Никто не платит. Сами изволите знать, нынче время такое. Верите богу, рубля в доме нет-с.

Дежурный. Рассказывай! Поверю я тебе! У эдакого жидамора, да чтобы денег не было! Ишь ты шубу себе какую сварганил! да чтобы денег не было! (Соболев улыбается). А ты вот что, благодетель: халат-то когда ж ты мне? а?

Соболев. Халат совсем почти что готов-с.

Дежурный. Полно?

Соболев. Единственно остановка тепериче за отделкой. Сам я без вас не посмел. Как вы прикажете?

Дежурный. Это что?

Соболев. То-есть насчет отделки, как вам угодно будет: кангом обложить или например, как прочие желают, — тесьмой вышить можно.

Дежурный. Да уж это ты сам.

Соболев. Для меня это все равно-с, я всячески могу: только я собственно к тому говорю, что как тепериче некоторые господа, например, заказывают вещь; а наконец того, в случае ежели не потрафишь, они в последствие времени обижаются.

Дежурный. Ну, вот еще! Как знаешь, так и делай.

Соболев. Это я понимаю-с.

Дежурный. Натурально, чтобы пофорсистее.

Соболев. Позвольте, Егор Иванович, не в том расчет-с. Сейчас вы на меня располагаетесь, я сделаю, и впрочем, вам не понравится; через это я должен, извините меня, оказать себя перед вами свиньей; а я, напротив того, желаю вам угодить.

Дежурный. Да чего тут! Валяй по журналу, по последней моде; вот-те и весь расчет.

Соболев. Слушаю-с. Стало быть прикажете грудь, например, эти места, также подол и прочее, бочка тесьмой вышить?

Дежурный. Это вензелями? Да прилично ли это будет нашему званию? а?

Соболев. Даже очень не дурно-с.

Дежурный. О? Ну! смотри же!

Соболев. И еще позвольте вам сказать: между прочим на рукавах, с этих мест допускается вышивка.

Дежурный. Да уж это ты там пригоняй, чтобы все соответственно.

Соболев. В таком случае позвольте и на спинке-с.

Дежурный. И на спинке вензеля?

Соболев. Да-с. А впрочем, как вам угодно.

Дежурный. Да в журнале-то сказано?

Соболев. Журналы совершенно одобряют-с.

Дежурный. Ну, коли одобряют, так что ж; стало быть так и следует.

Соболев. Слушаюсь. Так, значит, сообразно и будем делать.

Дежурный. Так и делай; а главное, вот что ты мне скажи сообразно: когда же он будет готов? Я уж вот другой месяц жду.

Соболев. Извините, Егор Иванович! Душевно рады бы вам угодить, да что станешь делать! Дела так круто подошли, даже хошь совсем хозйство бросать.

Дежурный. Все ты врешь.

Соболев. Верьте богу, Егор Иванович, часу времени нет; не то что работа, например, — побриться не дадут: то тот, то другой. А главная вещь — народом сбился совсем; так сбился, так сбился, просто смерть-с.

Дежурный. Что ж такое?

Соболев. Народу нет-с; совсем нет народу-с! Вот вы не поверите: на триста целковых работа лежит, — не могу взяться по той причине, что некому работать. Что ж, рассудите сами, не разорваться же мне на всех.

Дежурный. А мастера-то что же?

Соболев. Хм! С эстими с мастерами, я вам скажу, вот как: сейчас скидавай сюртук, оставайся нагишом, больше ничего-с. Ах, такую я себе неприятность с ними получил, даже я через это нездоров сделался.

Дежурный. Пьянствуют?

Соболев. Беда-с! Так слаб нынче стал народ, так слаб насчет этого, — ничего не сделаешь!

Дежурный. Это так.

Соболев. Главная вещь набалованы уж очень.

Дежурный. Страху нет.

Соболев. Эта ваша правда-с. Совершенно никакого страху не имеет, хозяин ему наплевать, винище это он жрет без памяти, работать не хочет; а как чуть что стал ему говорить, подавай расчет — и весь разговор. Даже, верите, иной раз глядеть, так ужас берет. Настоящий как оглашенный какой: сам себя не помнит, так его и кидает из стороны в сторону. Просто жалости подобно.

Дежурный. Ишь ты, жалостливый какой!

Соболев. Что ж, Егор Иванович, конечно, рассуждаешь это будто как...

Дежурный. Так жалко стало быть? А?

Соболев. По человечеству-с.

Дежурный. Так, так. Это следует... по человечеству... всегда. Это ты — по человечеству!!! Маклер ты, вот что! Все ты не дело говоришь, все ты это маклеруешь... по человечеству.

Соболев. Что ж, Егор Иванович, помилуйте; кто ж себе добра не желает?

Дежурный. Так ты и говори, так мы и запишем; а политику эту свою маклерскую брось. Ну ее к чорту.

Соболев. Как вам угодно-с, а я к тому собственно это упомянул, что как, то-есть, трудно по нонешнему времени с рабочим народом...

Дежурный. Понимаю я это все, понимаю.

Соболев. Да вот-с хошь бы, к примеру, есть у меня мастер один, первый, можно сказать, мастер.

Дежурный. Ну, и что же он?

Соболев. Он намерен в баню отпросился, и вместо того в часть попал; тепериче здесь у вас третьи сутки сидит: на улице подняли в бесчувствии — пьян-с. А мне без него просто хошь караул кричи: работа валяется, некому шить. Одного прогнал, на других расположиться невозможно: чуть отвернулся, сейчас в кабак. Того и гляди, работу пропьют. *(Помолчав.)* Я уж вас, Егор Иванович, хочу покорнейше просить: сделайте такое одолжение...

Дежурный. Какое одолжение?

Соболев. Да нельзя ли выпустить мастера-то моего? Я без него, как без рук. Будьте столь добры! Я уж вам повремени заслужу как-нибудь.

Дежурный. А вот мы посмотрим. Как его звать-то? *(Развертывает книгу.)*

Соболев. Ефимом. Ефим Петров.

Дежурный. Это можно.

Соболев. Чувствительно вам благодарен. Так стало быть я могу его получить-с?

Дежурный. Стало быть можешь и получить. Прохоров, сходи в общую арестантскую, приведи сюда Ефима Петрова. Слышишь?

Вестовой. Слушаю-с. (Уходит).

Соболев. Кстати, Егор Иванович, я еще хочу вас просить: будьте столь добры... Тепериче приведет его сюда-с...

Дежурный. Ну?

Соболев. Так уж вы, Егор Иванович, сделайте ему внушение от себя. Насчет то-есть...

Дежурный. Насчет чего?

Соболев. Да, словом сказать, как теперь должен, например, это он об себе понимать...

Дежурный. Да.

Соболев. Ну, и хозяину стараться уважение делать во всем. Обыкновенно, ежели в случае что заставаю, так чтобы одним словом без разговору. Потому, знаете, у них эта глупость в голове есть — об себе понятие: кто я, да что я, да хозяин без меня ничего не значит, да что он может сделать и прочее.

Дежурный. Это точно; это есть у них.

Соболев. Так уж следственно я, Егор Иванович, буду в надежде, что вы не оставите; а насчет ежели халата, или что прочее, брюки, это вы будьте покойны.

Дежурный. Ладно, ладно.

(Входит Ефим Петров и молча кланяется).

Дежурный. Ну что, хмель прошел?

Ефим. (тихо). Прошел.

Дежурный. Выспался? (Ефим не отвечает). Выспался, что ли, а?

Ефим. Выспался.

Дежурный. Ну, а снег разметал?

Ефим. Разметал.

Дежурный. Потрудился, значит. Это хорошо. Бог труды любит. Ты какого звания?

Ефим. Здешний мещанин.

Дежурный. Ну-с, так как же вы теперь, господин здешний мещанин, об себе рассуждаете: что нам с вами делать?

Ефим. На то ваша воля.

Дежурный. Ты что говоришь, Ефим?

Ефим. Я говорю, это как вам угодно!

Дежурный. Об этом что же!.. Я тебя спрашиваю, сам-то ты как полагаешь... пустить тебя или еще денька три у нас погостишь? А? (Ефим молчит). Вот хозяин твой просит отпустить тебя к нему на поруки, да я сомневаюсь; так уж ты мне скажи, надеешься ли ты на себя? (Ефим молчит). А то еще посиди. Что ж, мы тебя не гоним. Посиди — подумай! (Молчание). Так как же, братец, а? Вот господин Соболев отзывается об тебе, что человек ты не глупый, и дело свое знаешь; а между прочим эдакими ты пустяками занимаешься: пьянством. А? Что ж ты ничего не говоришь?

Ефим. А что ж мне говорить?

Дежурный. Да как же это ты, братец, а?

Ефим. Как? Обыкновенно... Что ж!..

Дежурный. Как же ты воздержатъ себя не можешь? Разве это хорошо?

Соболев. Да уж это, кажется, стыдно бы тебе, Ефим. Кому другому простительно, а тебе стыдно.

Ефим. Все пьют — ничего, а я должен стыдиться! Почему ж это так?

Соболев. Это ты, Ефим, неправильно говоришь. Пей, да не пропи-вайся.

Ефим. А что ж я такое у вас пропиал?

Соболев. Ты не у меня, а у себя пропиваешь.

Ефим. А что кому до этого за дело!

Соболев. Да ты посмотри на себя!

Ефим. Мне смотреть нечего. Я себя довольно хорошо знаю: что есть на мне, — все мое собственное, трудовое. И пропиал — мое, и не пропиал — мое. А у вас, кажется, я даром нитки не брал никогда. Какова есть нитка — не возьму.

Соболев. Постой, погоди! Не в том сила. Я к тому собственно говорю...

Ефим (*перебивает*). Да не к чему и говорить-то совсем, потому как это до вас не касается, и следственно все это одни пустые слова.

Дежурный. Как же ты смеешь, братец, так хозяину отвечать?

Ефим. А очень просто-с: они говорят и я говорю.

Дежурный. Ты помни, что он есть твой хозяин.

Ефим. Это я очень помню. Я так с ними и разговариваю.

Дежурный. Да разве так говорят?

Ефим. Я на ихние слова отвечаю. А впрочем мне все равно, и, пожалуй, я ничего не стану говорить.

Дежурный. Однако это ты так, братец мой, нехорошо. А ты должен чувствовать, что господин Соболев тебе благодеяние делает.

Ефим. Это же какое такое-с благодеяние?

Дежурный. Да вот он тебя принимает на свою ответственность. Это ты не понимаешь?

Ефим. Как не понимать! Тоже не маленький. Даже очень прекрасно понимаю-с, что дело к празднику подходит. Только это они напрасно беспокоятся, потому нам ихнии благодеяния не нужны; мы их об этом не просили.

Дежурный. А вот я тебя за эти самые разговоры сейчас в арестантскую отправлю, и будешь ты у меня еще целую неделю дрова таскать. Вот ты тогда у меня и узнаешь!

Ефим. Это как вам будет угодно-с.

Дежурный. Ты у меня тогда не так запоешь!

Ефим. На то воля ваша.

Дежурный. Молчать! (*Встает с дивана и ходит по комнате*). Животное!.. (*Несколько минут молчания*).

Соболев (*встает*). Да вы это напрасно, Егор Иваныч, изволите себя тревожить. Ежели он теперича такой бесчувственный человек, то может ли он сколько-нибудь понимать в своей душе, что есть благодарность. Конечно, который человек с понятием, тот может всегда рассудить, что касается; а впрочем бог с ним, я ему худа не желаю, ну только... (*К Ефиму*) Ефим! Эй, Ефим, подумай!

Ефим. Я уж обдумал... давно... все.

Соболев. Ефим. Попомни бога сколько-нибудь!

Ефим. Ваше благородие, прикажите меня обратно в арестантскую отвести. (*Дежурный смотрит на него в недоумении*). Потому я к ним (*указывает на Соболева*) итти не желаю.

Дежурный. Это что же такое? Почему, Ефим?

Ефим. Да так-с; не желаю, больше ничего, что не желаю.

Дежурный. А! Бунтовать! Хорошо же! Эй, Прохоров, отведи его в арестантскую. (*Соболев отводит дежурного в сторону и шепчет что-то. К Ефиму.*) Слушай, ты: по просьбе господина Соболева на этот раз тебе прощается; ну, только помни же это! Слышишь? Можешь убираться!

Ефим. Куда-с?

Дежурный. Куда хочешь, хоть к чорту на рога.

(Ефим молча уходит).

Дежурный. Эдакой поганый народишка! Как набалованы!

Соболев. Что же-с! Сами лезут в омут головой. Мое вам почтение! (Кланяется).

Дежурный. Прощай. А ты, брат, насчет халатика не забудь!

Соболев. Это будьте покойны-с. До приятного свидания! (Уходит).

(Занавес опускается)

КОММЕНТАРИИ

Тотчас после каракозовского выстрела Слепцов был арестован по приказу Муравьева-вешателя и отведен в полицию, в Александро-Невскую часть. «Помещение Васи было ужасно грязное, — вспоминала потом его мать. — Комната в три аршина, вся оплеванная, кровать полна клопов, мешок набит сенной трухой, и на пищу давалось лишь десять копеек в сутки: на ночь ставили в комнату ушат под названием «парашка», а в окна валил смрад пыльной копоти».

Муравьев продержал Слепцова семь недель и отдал его матери на поруки больного, с опухшими ногами, сильно исхудалого.

Выйдя из-под ареста, Слепцов тотчас же изложил свои наблюдения в форме драматической пьесы, где не только обличал продажность и жестокость тогдашней полиции, но главным образом наглядно показывал, какими крепкими узами связаны полицейские власти с эксплуататорами трудящихся: недаром главный герой этой пьесы — разбогатевший хозяинчик, пользующийся содействием полиции для закабаления своих подмастерьев.

Рукопись пьесы первоначально была озаглавлена «Сцены в полиции», но так как цензурные строгости после каракозовских дней были еще не изжиты, пьесе пришлось напечатать под малозаметным и неверным заглавием: «Пролог к неоконченной драме», сильно смягчив те места, где полиция, по выражению Слепцова, выступает в качестве «неприятельской армии, ведущей войну с мужиком».

Сцены прошли незамеченными. В «полном» собрании сочинений Слепцова их нет. Они даже не значатся ни в одном из библиографических справочников, и ни современные, ни позднейшие критики, писавшие о творчестве Слепцова, ни разу не упоминают о них.

Между тем они напечатаны в пятой книге журнала «Дело» за 1867 г. Существует неизданное письмо Слепцова, определяющее подлинный заголовок этой драматической пьесы. Письмо адресовано к Вере Захаровне Ворониной, сотруднице «Искры» и «Отечественных Записок». Привожу отрывок, относящийся к «Сценам в полиции»:

«...Мало ли что может меня раздражать. Во-первых, софистика известного вам господина, во-вторых, магическое превращение известных вам «Сцен в полиции» в «Эпilog (sic) к неоконченной драме». По-вашему, я равнодушен даже к тем метаморфозам, которые произвел в этой вещи известный вам А. М. Ш., но клянусь вам, что если бы этот субъект попался мне в то воскресенье, я в настоящее время снова был бы водворен в участок».

Об этих же «Сценах в полиции» упоминала впоследствии мать Слепцова (Жозефина Адамовна) в своих неизданных записках о сыне. Записки хранятся теперь у меня. В них между прочим сказано:

«В. А. просидел в душной, смрадной, 3-аршинной комнате в Александровской части семь недель, здесь окончательно потерял свое здоровье, исхудал, ноги распухли, и когда он вышел на божий свет, работать ему было трудно, но все-таки он написал не доконченную драму и главу «Хорошего человека»...

Мне кажется, что болезнь Слепцова, вынесенная им из тюрьмы, сильно отразилась на этих «сценах». Они гораздо слабее его предыдущих писаний. Их нельзя и сравнивать со «Спевкой», «Питомкой», «Ночлегом». Чувствуется, что их писал усталый человек. Но они чрезвычайно важны для определения социальных симпатий Слепцова, так как в них эти симпатии сказались яснее, чем в более совершенных рассказах и «сценах», относящихся к первому периоду его литературной работы.

К. Чуковский

ЖИЗНЬ И РАБОТА СЛЕПЦОВА

I

Слепцов родился в Воронеже в 1836 г. и рос в старинном дворянском гнезде в Саратовской губернии. На пятнадцатом году он был отдан родителями в Пензенский дворянский институт, где вначале зарекомендовал себя примерным воспитанником, но вдруг по неизвестной причине совершил неслыханно-дерзкий поступок, поразивший всех окружающих.

Во время обедни в переполненной институтской церкви, когда пели «верую во единого бога», он вышел на амвон и заявил:

— А я не верую!

И можно себе представить, как были ошеломлены таким кощунством священник, директор института, педагоги, студенты, молящиеся.

Преступника схватили, увели, наказали и, в виде особой милости, исключили из института, не предавая суду.

К сожалению, мы не располагаем сведениями о тех ранних влияниях, которые способствовали его отрыву от дворянской среды.

Из института он был исключен в 1853 г. во время русско-турецкой войны. Родные захотели определить его в действующую армию. Поначалу он как будто и сам был не прочь поступить в офицеры, чтобы уйти на войну, но вскоре изменил свое намерение и поступил на медицинский факультет.

Через год он охладел к медицине, страстно увлекся театром и к великому огорчению родных поступил на сцену в ярославский театр в качестве первого комика, но почему-то не прослужил и сезона, бросил сцену и вернулся в Москву.

Частая перемена профессий и мест — характерная черта его личности. «Он был непостоянен в своих увлечениях и всякий раз менял свои занятия, — вспоминает о нем его брат. — Эта неустойчивость и постоянное искание чего-нибудь нового рельефно выразились в его вечных скитаниях с одного места на другое, от одного занятия к другому».

Конечно эта непоседливость характеризовала не только Слепцова, но всю вообще плеяду писателей шестидесятых годов: такими же неприкаянными, бездомными были и Николай Успенский, и Левитов, и Орфанов и много других.

Мы не знаем, с какого времени он начал усваивать ту идеологию боевых разночинцев, которая впоследствии сказалась в его сочинениях, но в 1860 г. мы видим его в «якобинском» салоне графини Салиас де Турнемир, отличавшейся левизной убеждений.

Он близко сходитя с ее сыном Евгением, оппозиционно настроенным юношей, который через год, как известно, принял участие в московском студенческом «бунте». Товарищи Салиаса (Кельсиев, Агрипопуло, Гижицкий) были горячие головы, и в их кругу двадцатичетырехлетний Слепцов всецело отдался «новым идеям». Конечно, якобинство московской графини было наносное. Впоследствии, сделавшись писателем, Слепцов показал, как ненавистен ему этот фразистый либерализм дворянской формации. Сам он к тому времени уже «ушел в разночинцы». Это не могло не отразиться на первых же его произведениях. Они показали с необыкновенной отчетливостью, как сильно захватила его эпоха 60-х годов.

Осенью 1860 г. он по поручению Общества любителей российской словесности отправился пешком в деревенскую глушь собирать народные пословицы, песни и сказки, чтобы потом напечатать их в специальном издании. К этому поощрял его Даль, знаменитый исследователь великорусского живого языка. Но после первых же дорожных впечатлений Слепцов и думать забыл обо всяких песнях и сказках и с величайшей страстью принялся изучать экономическое положение крестьян и рабочих.

В первой же деревне он отправился прямо к попу, разбудил его и скороговоркой спросил, как живет рабочий на соседних ивановских фабриках. Тот долго спросонья безмолвствовал, а когда заговорил, то лишь затем, чтобы выпроводить дикого гостя за дверь.

Гость не обиделся и, вежливо поклонившись священнику, отправился на ближайшую фабрику, где с такой же прелестной учтивостью спросил у ее хозяина, как велика прибавочная стоимость, которую тот выжимает у рабочих. Хозяин фабрики, по примеру священника, немедленно выставил молодого человека за дверь, но молодой человек не обиделся, а пошел к другим фабрикантам и всюду задавал один и тот же вопрос. Ответ конечно получался везде одинаковый.

«Ты мне, голубчик, легарий-то этих не читай! — кричала ему например одна владелица текстильной фабрики. — Что ты дурочку-то строишь из меня! Я и так не умна! Не на такую напал. Мы, голубчик, всяких видали!»

Он поклонился ей с преувеличенной вежливостью, взвалил на себя все свои ранцы и зашагал по дороге, размышляя о том, что должно быть деятельностью этих почтенных господ не отличается кристальной чистотой, если они предпочитают вести свои дела бесконтрольно и на пушечный выстрел не допускают посторонних людей к изучению их производственных тайн.

Это был для него как бы первый урок политграмоты.

Пробираясь пешком от деревни к деревне, он наконец дошел до тех мест, где производилась постройка Московско-Нижегородской железной дороги. Здесь он окончательно отказался от собирания песен и сказок и, как введливый следователь, принялся собирать материалы для обвинительного акта против организаторов и руководителей этой постройки, разоблачая ту систему узаконенных подлостей, при помощи которой они эксплуатируют закабаленных ими крестьян и рабочих, и установил очень четко, что дело здесь не в отдельных грабителях, но во всем государственном строе.

Так создались его очерки «Владимирка и Клязьма», которые он напечатал в 1861 г. в малозаметном либеральном журнальчике «Русская Речь», издававшемся графиней Салиас де Турнемир, — в том самом, о котором Д. Минаев писал:

Статьями, что тискает «Русская Речь»,
Удобно растапливать русскую печь.

В них при всем своем обличительном пафосе он почти не прибегает к публицистике, а пользуется главным образом словесною живописью и вместо всяких рассуждений дает артистические зарисовки с натуры. Тон у него почти везде благодушный и даже веселый, к людям он относится с юмором и виртуозно воспроизводит их забавно-нелепые речи, а между тем в результате у него получилась прозная картина чудовищного разорения, голода, холода, рабства, болезней, насилий, обид, выпавших на долю рабочих. В этих дорожных письмах Слепцов показал себя одним из величайших мастеров того литературного рода, который в настоящее время называется очерком.

Очевидно этот жанр пришелся ему по душе, так как через год он снова отправился в провинциальную глушь, — на этот раз в город Осташков, который в то время гремел своей несравненной культурностью: банком, библиотекой, театром, женской гимназией, детскими яслями. Слепцов поселился в Осташкове, внимательно изучил его быт и пришел к убеждению, что вся культура этого хваленного города есть создание нескольких темных дельцов, которые прикрывают свою кровососную деятельность дешевой и показной филантропией.

«Письма об Осташкове» появились в некрасовском «Современнике», в нескольких книжках (1862—1863), и были замечены всеми: строгий анализ экономических и социальных явлений сочетался в них с изящною живописью, с простодушным, но очень язвительным юмором.

Беллетристическое дарование Слепцова обнаружилось здесь во всей полноте. Многих, в том числе и Некрасова, очаровало искусство, с которым он воспроизводит народную речь. Когда же около этого времени в петербургских журналах появились его лучшие рассказы — «Спевка», «Свиньи», «Питомка», «Ночлег», — он сразу выдвинулся в первые ряды молодых беллетристов.

1863 год, когда он поселился в Петербурге, был самой кипучей и шумной порой его жизни. Молодой писатель, красавец, обаятельный собеседник и вдобавок певец, музыкант, он сделался одной из самых популярных фигур — особенно среди молодежи. Студенты нарешхват приглашали его к себе на вечера и вечеринки, где он отлично играл на гармонике, пел народные песни и с несравненным искусством читал свою «Питомку» и «Спевку», — в сущности не читал, а разыгрывал в лицах, так как обладал незаурядным театральным талантом.

Времена тогда стояли трудные. Правительство Александра II открыто перешло на путь реакции и, воспользовавшись польским восстанием, разгромило радикальную интеллигенцию. Разночинцы первого призыва быстро сходили со сцены: Добролюбов умер, Чернышевский был арестован, Михайлова сослали в Сибирь. Оппозиционному лагерю требовались свежие силы, и когда явился Слепцов, его встретили как одного из представителей «смены». Он близко сошелся с Некрасовым, Ткачевым, Салтыковым-Щедриным, Елисеевым и на первых порах вполне оправдал те надежды, которые возлагали на него эти люди. Он сделался сотрудником обличительной «Искры» и газеты Елисеева «Очерки» — единственной радикальной газеты того времени. Вскоре новая страсть захватила его: борьба за раскрепощение женщин, которая для него была неотделима от борьбы за раскрепощение трудящихся. Он читал женщинам научно-популярные лекции, устраивал для них мастерские, где сам же обучал их переплетному делу, создал для них фонд взаимопомощи, в пользу которого постоянно устраивал концерты, литературные вечера и спектакли.

Женский вопрос был в то время вопросом боевой. Разночинная молодежь, перестраивавшая тогда на свой лад все формы общественной жизни, выдвинула множество женщин, экономическое положение которых понуждало их выступать в качестве самостоятельных тружениц, не зависящих от поддержки мужчин. Ими был наполнен

тогда Петербург, и конечно в реакционных кругах к ним отнеслись с жестокой ненавистью. Они приехали из дальних захолустий с неопределенным стремлением: «работать, учиться», но у них не было ни опыта, ни знаний, ни трудовой дисциплины. Охранители старорусских устоев издевались над их неумелостью, и «новые люди» были кровно заинтересованы в том, чтобы, приобретя этих женщин к работе, доказать маловерам, что есть не мало профессий, где женщина может сравняться с мужчиной.

Слепцов встал во главе всего «женского дела». Каждый день у него были новые планы: основать бюро приписки работы для женщин, открыть для них контору переписки бумаг, основать артель типографских наборщиц и т. д. и т. д. Осенью того же года он под влиянием романа «Что делать?», который только что появился в печати, устроил на Знаменской улице общежитие для кружка молодежи (главным образом женской), вскоре получившее известность под именем Слепцовой коммуны. Таких коммун было много в то время, особенно в Москве и Петербурге.

На первых порах он придавал этой коммуне большое значение и, выполняя завет Чернышевского, намеревался ввести в нее производственный труд, чтобы таким образом мало-помалу превратить ее в нечто вроде социалистического фаланстера Фурье.

Но коммуна не удалась. Ее жильцы принадлежали к различным социальным слоям: наряду с подлинными нигилистами там поселились нигилисты «поддельные» из зажиточных помещичьих кругов, вследствие чего между ними начались нелады, и к концу сезона коммуна распалась (в 1864 г.).

Во всех ее неудачах обвинили Слепцова — его будто бы аристократические замашки и вкусы, его донжуанское отношение к женщинам. То была клевета его партийных врагов, но и друзьям его сделалось ясно после этой истории с коммуной, что он мало пригоден для практической деятельности, ибо, горячо отдаваясь всякому новому делу, скоро охлаждает к нему и кроме того страшно разбрасывается, берется сразу за десятки дел, изобретает множество проектов и не доводит до конца ни одного.

Другие затеи Слепцова испытали ту же участь, что и коммуна: его женские ассоциации, мастерские, артели не просуществовали и нескольких месяцев. А между тем эта самоотверженная, хлопотливая деятельность сильно отвлекала его от литературной работы. Теперь, после краха коммуны, он наконец-то мог приняться за писание давно задуманной повести.

Эта повесть называется «Трудное время». В ней он обличает дворян-либералов, показывая, что даже честнейший из них есть на самом деле замаскированный хищник.

Он сталкивает типичного нигилиста 60-х годов, петербургского писателя Рязанова, с либеральнейшим помещиком Щетинным и, изображая в целом ряде картин хозяйственную деятельность этого доброго барина, посрамляет его.

Даже такие, казалось бы, благотворительные помещичьи начинания, как деревенская школа и устройство лечебной помощи крестьянам, подвергаются в романе жестоким насмешкам, так как Рязанова не удовлетворил этой грошевой филантропией: он жаждет революционного взрыва, который приведет к переустройству всей жизни на совершенно иных основаниях, а микроскопические щедроты помещика, по его мнению, отвратительны тем, что затемняют истинную сущность кровавой войны, которая ведется между двумя сторонами.

Так как по цензурным условиям Слепцов не мог высказать эту мысль со всею отчетливостью, его роман был многими понят превратно. Многим почудилось, будто он — мракобес, восстающий против школ для крестьянских детей и врачебной помощи деревенскому люду.

Особенно возмущались Слепцовым журналы либерального лагеря. В «Отечественных Записках», которые были в ту пору органом либералов-постепенновцев, объявили Щетинина евангельским праведником, а Рязанова — циником, смеющимся над гуманнейшими стремлениями благородного, высоко просвещенного деятеля.

Но радикалы без труда разглядели скрытый смысл повести Слепцова. Писарев увидел в ней апофеоз разночинца, «мыслящего реалиста», представителя «новых людей».

Вскоре после напечатания «Трудного времени» произошло покушение Каракозова на Александра II (апрель 1866 г.). Диктатором России стал Муравьев-вешатель, усмиритель польского восстания, и начался белый террор. Слепцов был арестован Муравьевым в числе многих других литераторов, участвовавших в радикальных изданиях, при чем ему вменялось в вину главным образом основание коммуны. Полиция вообще считала его опасным крамольником. До нас дошел отзыв о нем канцелярии с-петербургского обер-полицмейстера, относящийся к этому времени:

«Крайний социалист. Сочувствует всему антиправительственному. Нигилизм во всех формах».

Арестованного продержали семь недель в полицейской части, в заплеванной грязной камере, которая кишела клопами; кормили его скудной и отвратительной пищей; он заболел, исхудал, у него опухли ноги, началось кровохарканье, и после долгих хлопот его матери его отдали ей на поруки. «Арест и свел его в преждевременную могилу», говорит в своих воспоминаниях его мать.

Выйдя из-под ареста и немного оправившись, Слепцов принял живое участие в организации журнала «Женский Вестник», но через два-три месяца из-за издательских драг прекратил связи с журналом и вскоре почти охладел к так называемому женскому вопросу.

Началась новая полоса русской общественной жизни, и в ней Слепцов как писатель уже не нашел себе места. Его дарование как будто поблекло, и те немногие вещи, которые он написал после «Трудного времени», далеко не так блестящи, как прежние.

Впрочем он почти отошел от писательства. Некрасов, который очень любил его, предоставил ему место секретаря «Отечественных Записок», и здесь он обрел свою тихую пристань: читал чужие рукописи, вел переговоры с сотрудниками, но сам почти ничего не печатал. Так что все его произведения, которые характерны для его писательской личности, созданы им в самое короткое время, в какие-нибудь три-четыре года, не больше, а то, что написано им после этого времени, носит отпечаток усталости.

Правда, замыслы были у него обширные. Отказавшись от картинок и сценок, он затеял монументальный роман, в центре которого поставил типическую для новой эпохи фигуру «кающегося дворянина», богатого барина, искупающего всевозможными жертвами свою вековую вину перед народом. Этот роман он писал несколько лет (с 1866) и возлагал на него большие надежды, но написал только первоначальные главы, которые были напечатаны в 1871 г. и не имели успеха. Критика называла их вымученными.

Главное, вместо диалогов и зарисовок с натуры, которые так удавались ему, он ударился в психологический анализ. В нем появилась новая черта: склонность к вялому и мелочному резонерству, и это особенно сказалось в его очерках «Записки метафизика», которые он изредка печатал в журнале.

Впрочем скоро ему пришлось уйти из «Отечественных Записок», потому что он тяжело заболел и уехал на Кавказ лечиться. Болезнь то отпускала его, то возобновлялась, он не находил себе места, метался из Таганрога в Тифлис, из Саратова в Винницу, из Петербурга в Москву, беспрестанно меняя врачей и лекарства.

За ним самозабвенно ухаживала Лидия Филипповна Ломовская, дочь директора Петровско-Разумовской академии, молодая писательница, которой он внушил такое глубокое чувство, что она порвала с семьей и вся отдалась заботам о нем.

Никто не знал, в чем его болезнь, мнения врачей разошлись, предполагали рак.

Все его денежные средства поглотило лечение, он жил в бедности на скудные пособия Литературного фонда и, переехав к матери в Сердобск, скончался 23 марта 1878 г.

Смерть его прошла почти незамеченной, и так как у его близких не хватило денег, чтобы выкупить из ломбарда принадлежавшие ему вещи, в том числе и сундук с его рукописями, его литературное наследие погибло.

II

Слепцов умер полузабытым писателем.

Первое издание его сочинений к тому времени уже давно разошлось, а второе издание так и не могло появиться в печати. При той чисто партийной неприязни, которую питала к писателям-демократам либеральная интеллигенция, беллетристика Слепцова, Левитова, Николая Успенского, Воронова была пренебрежена и забыта. Считалось, что она имела чисто злободневный характер и теперь уже никому не нужна.

Если в последующие десятилетия и переиздавались порою сочинения этих нелюбимых писателей, их печатали спустя рукава, без надлежащей заботы о наиболее точном и полном воспроизведении их текстов. В конце концов эти книги попадали к темным маклакам, которые, купив их по дешевке, издавали их наравне с сонниками и прочею рухлядью. Эти издатели были меньше всего заинтересованы в том, чтобы дать читателям научно-проверенный текст, свободный от цензурных и всяких иных искажений.

При таких обстоятельствах второе издание сочинений Слепцова могло появиться в печати лишь через 22 года после появления первого (1888). Издал их апраксинский книгопродавец Губинский в виде плюгавой, неряшливой книжки, и хотя в эту книжку не вошли наиболее характерные произведения писателя, на ее обложке было сказано, что это — «Полное собрание сочинений В. А. Слепцова».

Цензура со своей стороны сделала все возможное, чтобы исказить эту книгу.

Об отношении тогдашней цензуры к Слепцову свидетельствуют те мытарства, которые около этого времени испытал его рассказ «Питомка». Рассказ, как известно, очень полюбился Льву Толстому (который кажется познакомился с ним именно в этом издании). Горячо расхваливая этот рассказ, Толстой посоветовал своему другу Черткову издать его отдельно книжкою в народной серии издательства «Посредник». Чертков немедленно представил «Питомку» в петербургскую цензуру, которая наотрез отказалась разрешить перепечатку «Питомки» для широких читательских масс. Очевидно цензуру смущало не столько содержание рассказа, сколько самое имя писателя, потому

что, когда Чертков направил «Питомку» на цензурный просмотр в Москву и скрыл от московского цензора, что это — рассказ Слепцова, а поставил только буквы «В. С.», рассказ благополучно прошел, хотя цензура и сделала в нем несколько нелепых купюр¹.

Значит даже в 1890 г. имя Слепцова считалось таким опасным в официальных кругах, что его приходилось скрывать от цензуры.

Третье и последнее издание сочинений Слепцова вышло через 37 лет после первого. Современные читатели знают Слепцова именно по этому изданию (1903). Между тем оно является безобразной хаптурой, совершенно искажающей облик писателя.

Начать с того, что вступительный очерк, наскоро склеенный из разнородных статей, посвященных Слепцову, содержит в себе много заведомой лжи. В нем например говорится, будто Слепцов благополучно окончил Пензенский дворянский институт, хотя на самом деле его исключили отсюда за «непристойное и кощунственное поведение во время святой литургии».

Статья заметно стремится придать биографии Слепцова аристократический лоск. В ней даже не упоминается о том, что одно время Слепцов был профессиональным актером, что он жил и умер в бедности; зато перечислены все его именитые родственники и чрезвычайно выдвинут тот многознаменательный факт, что его дочь (которая была ему, кстати сказать, совершенно чужда) вышла после его смерти за генерала Иосифа Гурко!

В конце статьи Слепцову высказывается строгое порицание за то, что он был не только художником, но и революционным бойцом. При помощи цитаты из черносотенного «Нового Времени» автор выражает сожаление, что Слепцов загубил свои душевные силы порывами в область политики и «праздной игрой в агитацию».

Естественно, что при таком враждебном отношении к революционной идеологии Слепцова руководители издания считали весьма нежелательными какие бы то ни было попытки восстановить в его книгах те «зловредные» строки, которые были выброшены давнишней цензурой из первопечатного текста. Эти старые цензурные вымарки были бережно сохраняемы в обоих изданиях. Особенно пострадало от них «Трудное время». Сравнивая позднейший текст этой повести с изданием 1866 г., мы находим целые десятки весьма существенных цензурных купюр.

Иные из них были очень обширны, занимали несколько страниц: например, весь эпизод с Аграфеной или пьяные речи попа. Иные ограничивались одним или двумя-тремя словами, но слова эти были такие, что без них вконец уничтожалось агитационное значение данного текста. Например, в начале пятой главы в эпизоде с солдатом выброшено было слово бац. Слово коротенькое, а между тем именно в нем сосредоточен весь смысл отрывка, так как оно означало, что пьяный офицер не только ругал солдат, но и бил их со всего размаха по лицу.

А в начале одиннадцатой главы слово марсельеза было заменено словом марш. Отчего вся страница, посвященная этому «маршу», сделалась совершенно бессмысленной.

В той же главе в разговоре о боге слово иконка было заменено словом картинка, а слово бог отец — словом старик.

В конце повести выброшен смелый намек на то, что погибших революционных бойцов, при чем в первоначальном тексте автору удалось протащить сквозь цензуру такой разговор о дальнейшем успехе революционной борьбы:

«Разве вы не верите в успех этого дела?»

— Как не верить? Нельзя не верить. Успех-то будет несомненно».

Между тем как в позднейших изданиях под давлением цензуры это четкое и бодрое исповедание веры сменилось каким-то мямлением:



В. А. СЛЕПЦОВ

С фотографии (70-х гг.), хранящейся в Институте Русской Литературы

¹ Сообщено мне К. С. Шохор-Троцким, исследовавшим архивные материалы «Посредника».

«— Разве вы не верите в успех какого-либо дела?

— Как не верить? Успех бывает».

Порою доходило до того, что отдельные места слепцовской повести приобретали характер прямо противоположный подлинной идее Слепцова. Например в знаменитом разговоре о партизанской войне (который в обоих последних изданиях был выброшен почти целиком) между прочим приводится такой диалог:

«— И по-твоему, выходит так, что везде, где только есть мошенники, там и война. Так, что ли?

— Не совсем так.

— Как же?

— А вот как: везде, где есть сильный и слабый, богатый и бедный, хозяин и раб-ботник, там и война».

Все это место было цензурой зачеркнуто, и взамен были напечатаны такие строки:

«— Стало быть, везде, где есть мошенники, там и война?

— Там и война».

Можно подумать, что классовая борьба воспринимается автором как взаимная потасовка мошенников.

Точно так же были выброшены строки об избииении крестьянина посредником, о взятках духовенства, о Саваофе, сидящем на яйцах, о конституции и проституции и проч., и проч., и проч.

С остальными текстами дело обстояло не лучше. Например «Владимирка и Клязьма» в этом издании печаталась так: раньше середина, потом окончание, а в самом конце — начало! На 499 странице Слепцов выезжает в деревню Ундол, а приезжает он в эту деревню на 39 странице того же самого тома. Если же вас заинтересуют дальнейшие его приключения, вы должны тотчас же после 46 страницы обратиться к 390-й! (См. «Полное собрание сочинений В. А. Слепцова», П., 1903.)

Эта путаница произошла оттого, что, помещая «Владимирку и Клязьму» в журналах 1861 г., Слепцов первоначально (в январе и апреле) напечатал два пробных отрывка, а потом, когда обнаружилось, что эти отрывки имеют успех, начал с августа печатать всю серию очерков. Издатели же, не вникая в содержание публикуемых текстов, так и напечатали их в виде отдельных клочков, вследствие чего в литературе сложилась легенда, будто конец «Владимирки и Клязьмы» утерян. По этому поводу биографы Слепцова указывали, что он вообще относился к своим рукописям очень небрежно, постоянно теряя их и пр. Все это — сущий вздор. Уже то, с каким великим усердием Слепцов переделывал свои сочинения, подготавливая их ко второму изданию, свидетельствует, как бережно он к ним относился.

Не его вина, что до настоящего времени мы были так постыдно невнимательны к литературному наследию писателей 60-х годов.

Как бы для того, чтобы окончательно выказать свое пренебрежение к слепцовскому тексту, составители этого тома включили туда целый ряд опечаток самого чудовищного свойства: польское восстание оказалось у них полным восстанием, известный писатель Потехин превратился в Потемкина, «помещик» — в «посредника», а «посредник» — в «помещика» и т. д. и т. д.

Однако не следует думать, что только один Слепцов печатался с таким вопиющим неряшеством. Сочинения Некрасова, Николая Успенского и других представителей той бурной эпохи издавались еще неряшливее. То была не случайность, а система.

К. Чуковский